

Какой рукописью пользовался Джамбаттиста Пий при издании «Аргонавтики» Валерия Флакка?

Беликов Алексей Евгеньевич

Аспирант Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва,
Россия

В 1519 году Джамбаттиста Пий (1460-1540) своим изданием «Аргонавтики» [Valerius Flaccus 1519] открыл новую эпоху в текстологии Валерия Флакка, первым обратившись к рукописи, которая позднее будет обозначена V (Vaticanus latinus 3277, здесь и далее сиглы по Либерману [Valerius Flaccus 2002]). Спустя почти два века Гейнзий при подготовке своего издания будет в ватиканской библиотеке испытывать трепет перед этой рукописью, в которой он опознает источник текста для Пия. Вся вторая половина XIX – начало XX века пройдут в ее почитании, пока Элерс [Ehlers] не докажет, что у V не было никаких списков, а основная часть традиции восходит к L (Laurentianus plut. 39, 38), рукописи, написанной Никколо Никколи ранее ноября 1429 года.

В отличие от своих предшественников, Элерс доказал, что L не является второстепенным списком с V, но восходит к более древнему архетипу. Эта текстологическая революция окажется подкрепленной двойным свидетельством Полициано в 1 и 2 книгах Центурий [Schmidt: 241-244]: он сообщает, что держал в руках старинную рукопись, предоставленную Тадео Уголето, придворным венгерского короля Матьяша Корвино; на полях этой рукописи были пометы Никколи, она давала чтение *nox durica* вместо *turica* в 2, 572 и имела переставленные стихи 8, 136-185 после 8, 385. И хотя сама рукопись γ была впоследствии утрачена (последним на нее ссылается Бартоломео делла Фонте), L однозначно идентифицируется как список с нее. Последние критические издания «Аргонавтики», и среди них издание Либермана [Valerius Flaccus 2002], исходят из стеммы Элерса.

Мое внимание привлек тот факт, что уже в 1724 году в предисловии к Лейденскому изданию Бурманн [Valerius Flaccus 1724] предполагает, что Джованни Баттиста Пий, использовавший рукопись V (как это установил еще Гейнзий при подготовке издания 1680 года), мог также обращаться и к утраченной рукописи Уголето γ или к гуманистическим спискам с неё: предположение строится на том, что комментарий Пия к 2, 572 содержит то самое чтение *nox durica*, которое цитирует Полициано; кроме того им приводятся данные о знакомстве Пия и Уголето, а *codex Dacicus*, как называет свой основной источник Пий, должен, по мнению Бурманна, обозначать рукопись из Венгрии, а следовательно – из библиотеки Корвино (γ). Получается, что ходом своей мысли Бурманн предвосхитил текстологические открытия XX века, но этот факт остался полностью незамеченным.

Какой же рукописью пользовался Пий? В предисловии к своему изданию он сообщает: *Nonnihl et Codex castigatior, quem Liberalitas R. Farnesii... obtulit: Lima Pomponii Laeti... elimatum. Alium quoque multis in locis manu Fabricii Varrani episcopi Camertis emaculatum. Adminiculum quoque non paruum attulit Iacobus Orodryinus scriptor apostolicus... oblato codice Dacico, suspiciendae antiquitatis*. Наиболее вызывает интерес *codex Dacicus*, упоминание о котором содержится и на титульном листе – большинство исследователей сходится на том, что это то же, что и цитируемый в примечаниях *codex est reuerendae ac exosculandae uetustatis ex Germania allatus*.

Как уже сказано, Бурманн пытался отождествить эту рукопись с рукописью Уголето γ (из-за его влияния ошибка вкралась в библиографическое описание издания Пия в предисловии издания 1786 года из Цвейбрюккена). Современные исследователи, отождествив *Iacobus Orodryinus* с Якобом Квестенбергом и предполагая германское происхождение рукописи V, называют в качестве источника текста для Пия последнюю, поясняя, что обозначение *Dacicus* может относиться к любым северным странам [Schmidt: 253], [Valerius Flaccus 2002]. Хотя эта версия более правдоподобна, остается некоторое

противоречие в оценке рукописи, данной Пием: *suspiciendae antiquitatis* против *reuerendae ac exosculandae uetustatis*.

Однако, требуется объяснить присутствующие у Пия чтения из традиции L (не только 2, 572, но и 2, 263; 2, 361; 3, 246; 3, 538 и другие) – в этом помогут оставшиеся две рукописи, упомянутые издателем в предисловии. К сожалению, мне не удалось идентифицировать рукопись, принадлежавшую Фабрицию Варрану – вероятно, Варино Фаворино (между 1445 и 1450 – 1527-1537). Зато рукопись Помпония Лета из библиотеки Фарнезе известна – это K (Neapolitanus Bibl. Nat. IV. E. 40), восходящая к копии с L. Таким образом, Пий вполне мог черпать эти чтения из имевшихся у него рукописей и не быть знакомым с экземпляром Уголето γ, о котором он сам не говорит ни слова. С другой стороны, он первым использовал привезенную в то время рукопись V, и будучи, без сомнения, талантливым издателем, постарался объединить достоинства обеих ветвей традиции, как и написано в предисловии: *ut Zeusis ex diuersis corporibus, unam, et ni fallor, integram formam et rediuiuam imaginem recidiuo Flacco praestitimus*. Мне представляется, что более подробное рассмотрение подобного рода источников может позволить не только яснее представить себе историю текста, но и, как в случае с замечанием Бурманна, предвосхитить более серьезные текстологические открытия.

Литература

Ehlers. W.W. Untersuchungen zur handschriftlichen Ueberlieferung der Argonautica des C. Valerius Flaccus. Munich, 1970.

Schmidt P.L. Polizian und der italienische Archetyp der Valerius-Flaccus-Ueberlieferung // Italia medioevale e umanistica XIX. Padova, 1976.

Valerius Flaccus. Argonautica / Ed. G. Liberman. 2 T. Paris, 2002.

Valerius Flaccus. C. Valerii Flacci Argonauticon libri octo, cum notis integris Lud. Carrionis, Laur. Balbi Liliensis, Justi Zinzerlingi, Christoph. Bulaei, Gerh. Vossii & Nic. Heinsii, & selectis Aegidii Maserii, Jo. Bapt. Pii, Jo. Weitzii & aliorum, curante Petro Burmanno, qui & suas adnotationes adjecit. Leidae, 1724.

Valerius Flaccus. C. Valerii Flacci commentarii J. Bapt. Pio Bononiensi auctore. Cum codicis poetae emendatione, ex antiquo exemplari Dacico, additis libris tribus, qui desiderabantur, & Orpheo Latino. Bononiae, 1519.

Родительный падеж тематического склонения в древнегреческом языке

Брайловская Анастасия Андреевна

Студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,
Москва, Россия

В микенский период уже фактически сложилась система древнегреческого склонения с тремя типами основ. При этом атематическое склонение основ на *-eh₂ выделилось в отдельный тип основ на -ā, испытавший влияние тематического склонения.

Родительный падеж тематического склонения основ на -ο восходит к и.-е. *osyo > *ohyo > *ōyo [Семереньи, 2002: 195], далее отдельно развивается эолийский вариант *oyyo > oio [Willi, 2008: 258], отразившийся в гомеровском языке (Nom. Ἰκάριος – Gen. Ἰκαρίοιο). Параллельно *ōso развивается в *oho > *oo > */ō/ [Schwyzer, 1939: 555], которое в аттическом диалекте стало обозначаться как -ου. Уже в гомеровском языке представлены оба варианта. В разное время предпринимались попытки объяснить и осмыслить их употребление – высказывалось предположение, что окончание -ō заимствовано из местоименного склонения и восходит к *-so (что подтверждается такими примерами, как Gen. от указательного местоимения ὅ - τέο < *toso) [Семереньи: 196]. Однако многочисленные случаи появления в родительном падеже у местоимений окончания -οιο (σοῖο – Gen. от σύ, τοῖο – gen. от ὅ, срав. с санскр. tasya, микенское au-to-jo > αὐτοῖο) ставят под сомнение такую реконструкцию. Тем не менее, уже в гомеровском языке окончание -ō чаще встречается у местоимений, чем у существительных, в то время

как -οιο в основном присутствует у существительных [Willi: 262], особенно в эпических формулах (например, ἔς δόματ' Ὀδυσσεῖος θεῖοιο, Od. XX 348). В некоторых случаях окончание -οο пытаются свести к аблативному окончанию -ōd, опираясь на интерпретацию дельфийской формы οἴκω (Schwyzer, E. Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora. Lipsiae, 1923), [Schwyzer: I 549].

Генитив тематического склонения на -ā восходит к прагреческому *-ās < *-eh₂-s [Schwyzer: I 560], которые дают соответствующие варианты по диалектам: -αο в беотийском, -αυ в аркадо-кипрском, -ā в лесбосском, фессалийском и западных диалектах, -ηο>εο в ионийском. Позднее в аттическом диалекте генитив -αω под влиянием основ на -ο был заменен на -ου (πολίτης – gen. πολίτου). Но в микенском сохранились многочисленные примеры на изначальный вариант -āo < -*āho (дальнейшее развитие *-eh₂-s > *-ās > *-āho, возникшее под влиянием параллельного образования *-ōho в склонении на -ο) [Bartoněk, 2003: 166]. Часто встречаются формы gen. su-qa-ta-o (сохранившееся в древнегреческом συμβότης), qa-qa-ta-o (βουβότης).

Синтаксическая функция генитива чаще связана с несогласованным определением и значением посессивности. В микенском распространены конструкции типа e-ke ko-to-na qa-qa-ta-o (PY Ea 802) – глагол «иметь», дополнение и генитив, обозначающий владельца. Формы генитива также используются для обозначения времени: в пиловских табличках употребляется genetivus absolutus, ср. di-wo-nu-so-jo me-no 'в месяц Диониса' [Казанскене В.П., Казанский Н.Н., 1986: 157].

Литература

Казанскене В.П., Казанский Н.Н. Предметно-понятийный словарь греческого языка. Крито-микенский период. Л., 1986.

Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 2002.

Bartoněk Antonin. Handbuch des Mycenischen Griechisch. Heidelberg, 2003.

Schwyzler E. Griechische Grammatik. 1. Bd. München, 1939.

Willi A. Genitive problems: Mycenaean -Ca-o, -Co-jo, -Co vs. later Greek -δο, -οιο, -ου// Glotta, Band 84, 2008. S. 239-268.

Особенности композиции «Психомахии» Пруденция

Голикова Анна Анатольевна

Аспирантка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия

Аурелий Пруденций Клеменс - один из известнейших авторов латинского Средневековья. Как следует из его собственного утверждения, приведенного в одном из его стихотворений, он родился в Испании в 378 году и прожил большую часть своей жизни в северо-восточной Испании, хотя и совершал поездки в Рим. К литературному наследию Пруденция относятся его религиозные гимны и поэмы, самой известной из которых является «Психомахия». Эта поэма известна как первое литературное произведение, где главными действующими персонажами являются аллегории (под аллегорией здесь мы понимаем персонификацию-воплощение абстрактных понятий - как, например, Ira - Гнев). Создание этой поэмы относится к IV веку. Бесспорным представляется влияние «Психомахии» на средневековое искусство, нашевшее свое выражение в церковной живописи (так, Капелла Скровеньи в Падуе украшена изображениями добродетелей и пороков) и скульптуре (изображение пар пороков и добродетелей на порталах соборов или внутри их было крайне распространено, примером тому могут служить Нотр-Дам в Париже, соборы Шартра, Амьена, Амстердама и многие другие).

Поэма Пруденция интересна, в частности, с точки зрения композиции. Она состоит из 915 стихов, организованных в две части. В связи с этим делением нам кажется уместным вычленить здесь две композиционные структуры, внутреннюю и внешнюю. Под внешней мы понимаем обрамление основной части повествования, то есть

вступительную часть поэмы и некоторые детали центрального повествования, о которых будет сказано позже, под внутренней - собственно основную часть.

В первой части «Психомахии» речь идет о событиях, описанных в Ветхом Завете: Аврам спасает своего племянника Лота с помощью своих 318 рабов, помогая ему бежать из Содома и Гоморры, а когда Авраму исполняется 99 лет, к нему является Господь и возвещает о том, что Сара родит от него сына, несмотря на его преклонный возраст. Вторая часть открывается воззванием к Христу и повествует о самом сражении между добродетелями и пороками.

Основная часть нашего сообщения посвящена соотношению первой и второй части поэмы. Это отношение может быть выражено при помощи термина «фигуральная интерпретация», введенного Ауэрбахом [Auerbach: 29] в связи с трактовкой этого термина Тертуллианом, у которого, например, Адам - *figura Christi* (предвестник Христа), Ева - *figura ecclesiae* (предвестница церкви) и т. д. [Auerbach: 30] Здесь имеется в виду, что события первой части - *figura* событий основной части. Об этом открыто говорит и сам автор:

Haec ad figuram praenotata est linea,
Quam nostra recto vita resculpat pede. [Lavarenne: 53]
(Эта сцена - фигура того,
Что наша жизнь должна с точностью обозначить).

В общих чертах соотношение между первой и второй частями «Психомахии» передает соотношение событий Ветхого Завета и событий христианской эпохи. События Ветхого Завета также упоминаются в основной части, но при этом оговаривается их фигуральный характер, и таким образом они могут рассматриваться как часть внешней структуры по отношению к внутренней. В частности, в битве Стыдливости против Сладострастия говорится о том, что Юдифь, отрезая голову Олоферну, действовала «в тени Закона, <...> предвосхищая наши времена» («*sub umbra legis, <...> dum tempora nostra figurat*») [Lavarenne: 53]).

События первой части поэмы не только являются предвестниками (*figura*) для событий второй части - они тоже имеют свой скрытый смысл. Многие исследователи (например, [Lavarenne: 48]) отмечают символику числа, имеющую значение для первой части. Число 318 является символом Христа, так как по-гречески оно записывается как Т I Н, где Т - символ креста, а I Н - инициалы имени Христа. Таким образом, Аврам - символ человеческой души, а 318 рабов - иносказательное изображение Иисуса, и победу Аврама над варварами, захватившими Лота, следует рассматривать как победу души над страстями при помощи Христа. Эта же интерпретация подтверждается в конце вступительной части, где автор, обращаясь к читателю, говорит о том, что битва с пороками и страстями, подобная сражению Аврама с варварами, должна произойти в душе любого верующего, и при этом ему следует помнить о мистическом числе 318, которое даст ему дополнительные силы.

В литературоведческих работах, посвященных «Психомахии», расхожим является утверждение о том, что поэма Пруденция - не что иное, как распространенное объяснение цитаты из «О зрелищах» Тертуллиана: «*Vis et pugilatus et luctatus? Praesto sunt, non parva et multa. aspice impudicitiam deiectam a castitate, perfidiam caesam a fide, saevitiam a misericordia contusam, petulantiam a modestia adumbratam, et tales sunt apud nos agones, in quibus ipsi coronamur*». [Dodgson: 218] («Ты желаешь увидеть кулачные бои и борьбу? Они существуют, и их немало. Посмотри, как бесстыдство погибает от рук целомудрия, вера побеждает неверие, милосердие ранит жестокость, смирение выигрывает бой со своеволием, и таковы наши бои, по исходу которых мы получаем венок победителя»). Однако это представление кажется нам лишены оснований, так как перечисленные пороки и добродетели не совпадают ни по количеству (у Пруденция описывается семь сражений), ни по именам с представленными в «Психомахии».

Из приведенных замечаний можно сделать следующие обобщения по поводу композиции «Психомахии»: во-первых, первая часть несет в себе тайное значение, которое реализуется во второй части; во-вторых, первая часть имеет самостоятельное символическое значение и, в-третьих, события второй части в достаточной степени далеки от сражений, описываемых в цитате из Тертуллиана, хотя она зачастую и указывается как их источник.

Литература

Auerbach E. Scenes from the drama of European literature: six essays. Gloucester, 1973. Pp. 11-63.

Dodgson C. Tertullian. Apologetic and Practical Treatises. Oxford, London, 1842.

Lavarenne M. Prudence. Paris, 1943-1951.

***Vt uidi, ut perii*: к вопросу об источниках Verg. Ecl. 8.41**

Каячев Борис Александрович

Аспирант Лидского университета, Лидс, Великобритания

Стандартные комментарии называют два прототипа вергилиевского стиха (*ut uidi, ut perii, ut me malus abstulit error*), оба в «Идиллиях» Феокрита: 2.82 (χως ιδον ως εμηνη, ως μοι πυρι θυμος ιαφθη) и 3.42 (ως ιδεν ως εμηνη, ως ες βαθυν αλατ' ερωτα). Вторая идиллия дала, условно говоря, структурный образец (описание встречи от первого лица: [2.75] ειδον ... ιοντας, [82] χως ιδον..., ср. [8.38] *uidi ... legentem*, [42] *ut uidi...*), тогда как третья стала источником мотива собирания яблок ([3.41] μαλ' εν χερσι ελων, ср. [8.38] *mala legentem*); помимо комментариев Колмана и Клозена, см.: [Lipka: 50], [Paraskeviotis: 238–239].

Тем не менее, не все детали вергилиевского контекста объясняются этими двумя параллелями, и можно предположить, что Вергилий имел в виду и другие образцы. Прежде всего, вергилиевская формулировка свидетельствует о знакомстве с гомеровским прототипе обоих стихов Феокрита («Илиада» 14.294: ως ιδεν, ως μιν ερως πυκινας φρενας αμφεκαλυψεν). Как отмечают исследователи, латинское *error* обыгрывает греческое ερωτα из третьей идиллии, гомеровский же контекст оказывается более близкой параллелью, поскольку здесь ερως имеет тот же – именительный – падеж, что *error* у Вергилия. Кроме того, мотив, скажем так, детской влюбленности тоже связывает Вергилия именно с Гомером.

Однако можно указать еще один греческий источник вергилиевского стиха (в свою очередь, также переиначивающий гомеровский образец) – в «Европе» Мосха (74): ως μιν φρασαθ' ως εολητο. По-видимому, латинское *perii* следует считать интерпретирующим переводом εολητο, предполагающим деривацию от ολλυμι. Хотя античные схолии и лексиконы обычно трактуют εολητο иначе, поясняя через ετεταρακτο («приходить в смятении»), а современные этимологические словари связывают с ειλω («давить»), такое понимание также можно встретить в парафразе этого стиха в романе Ахилла Тация (1.4.4 ως δε ειδον, ευθυς απωλωλειν) – разумеется, хорошо знакомого с «Европой» Мосха (см.: [Bühler: 26]). Мотив собирания яблок у Вергилия (у Феокрита Гиппомен яблоки не собирает, а разбрасывает), возможно, обыгрывает мотив собирания цветов у Мосха.

Как известно, этот же самый латинский гекзаметр встречается в поэме «Кирис» (ст. 430), причем в данном случае сходство с Мосхом усиливается за счет мотива обманчивой внешности в непосредственном контексте этого стиха ([78] παρθενικης τ' εθειλων αταλον νοον εξαπατησαι | κρυψε θεον και τρεψε δεμας, ср. [429] *uultu decepta puella*), так что тем самым также косвенно подтверждается и связь *perii* у Вергилия с εολητο у Мосха.

Оставляя в стороне вопрос об относительной хронологии «Буколик» Вергилия и «Кирис» (см.: [Gall]), можно сделать важное наблюдение более общего характера. Читатели античной поэзии нередко сталкиваются с дилеммой, считать ли специфическое сходство двух контекстов у разных авторов аллюзией, подразумевая между ними непосредственную (а потому значимую) генетическую связь, или же – особенно когда

схожих контекстов не два, а больше – топосом, полагая, что сходство обусловлено следованием общим жанровым нормам (и потому не несет особой смысловой нагрузки). Однако эта дилемма в значительной степени искусственна (ср.: [Hinds: 34–51]): как несложно заметить, ко времени Вергилия мотив, условно говоря, любви с первого взгляда был общим местом любовной поэзии, однако Вергилию это не помешало, используя данный топос, обыграть четыре (по меньшей мере) конкретных случая его употребления в греческой поэзии, можно даже сказать – проследить его историю вплоть до исходной гомеровской модели.

Литература

- Bühler W.* Die Europa des Moschos: Text, Übersetzung und Kommentar. Wiesbaden, 1960.
Gall D. Zur Technik von Anspielung und Zitat in der römischen Dichtung: Vergil, Gallus und die *Ciris*. München, 1999.
Hinds S. Allusion and Intertext: Dynamics of Appropriation in Roman Poetry. Cambridge, 1998.
Lipka M. Language in Vergil's *Eclogues*. Berlin, 2001.
Paraskeviotis G. Vergil's Use of Greek and Roman Sources in the *Eclogues*. Diss. Leeds, 2009.

О жертве повинности в Ветхом Завете

Корчагин Алексей Олегович

*Аспирант Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова,
Москва, Россия*

Одной из наиболее значительных жертв в иудаизме была так называемая “жертва повинности”. Так Синодальный перевод передает древнееврейское слово אָשָׁם (ашам). Жертва повинности – одна из пяти видов жертв, приносимых Богу за совершение греха. Собственно жертва повинности практически неотделима от жертвы за грех חַטָּאת (хатат). Однако между ними есть существенное различие. Жертва повинности приносилась за грехи, совершенные по неведению, в отличие от жертвы “хатат”, совершаемой во искупление сознательных грехов. Ритуал принесения жертвы повинности подробно описан в 5-7 главах книги Левит. В этих главах даются подробные указания относительно данного вида жертвоприношения. При этом следует заметить, что параллельно с инструкциями о принесении жертвы повинности указываются правила принесения жертвы за грех (хатат). Ритуал обоих видов жертвоприношения довольно схож. Бывали случаи, когда жертвы “ашам” и “хатат” приносились совместно (например, Чис. 6:12, 14, где речь идет об обряде посвящения в назореи). Однако, как было уже сказано, жертва повинности приносилась за грехи, совершенные неосознанно, или, как заметил профессор Лопухин, жертва греха приносилась “за грехи попущения (commissionis), жертва повинности – за грехи опущения (ommissionis), 1-я за грехи против положительных заповедей, 2-я против запрещений; 1-я против грехов, известных и другим людям, 2-я против скрытых или тайных.” [Лопухин, т.1: 423]. Однако в некоторых особых случаях жертва “ашам” приносилась за сознательные грехи, например, за похищение чужой собственности (Лев. 6:2-5). Кроме того, жертва “хатат” часто приносилась за грехи целого народа (Лев.16, Чис.19), а жертва “ашам” – всегда жертвоприношение частных лиц, совершаемое во искупление индивидуальных грехов, жертва, носящая сугубо дисциплинарный характер. Нужно сказать, что при принесении жертвы повинности, как и большинства других жертв, животное сжигалось не полностью. Приносились в жертву его курдючный жир и почки (Лев.7:4). Остальная часть жертвенного животного съедалась священниками (кохенами).

Обратим внимание на семантику самого слова אָשָׁם . Этот корень употребляется в Масоретском тексте 103 раза. Существуют глагол, существительное и прилагательное данного корня. Корень 'tm , родственник древнееврейскому 'šm , зафиксирован в угаритских документах из Рас-Шамры и связан с семантикой административного правонарушения. В ветхозаветных текстах можно выделить два основных значения корня:

- 1) вина, правонарушение

2) *terminus technicus* для обозначения вида жертвоприношения.

В первом значении *'šm* встречается довольно часто. При этом в некоторых случаях слова данного корня обозначают не только вину либо проступок, но указывают на результат правонарушения. Так во 2-й книге Паралипоменон перечислены пороки, за которые полагается наказание (употреблен глагол *'āšam*). Употребленный в породе *piḥal*, данный глагол может иметь значение “быть наказанным” (например, Пс.33/34:22). Во втором значении корень используется для обозначения жертвы повинности и ритуала, сопровождающего данное жертвоприношение. Чаще всего в этом значении *'šm* встречается в книге Левит.

Осталось рассмотреть, как переводится корень *'šm* в Септуагинте. Чаще всего для его передачи LXX используют слова со сложной основой *πλημμελ-* (глагол *πλημμελέω* и существительное *πλημμέλεια*). Кроме того, трижды употребляется существительное *πλημμέλημα* (Чис.5:8 (дважды), Иер.2:5) и дважды – *πλημμέλησις* (Лев.5:19, Езд.10:19). Последнее слово нигде до LXX в древнегреческой литературе не встречается, Ласт считает его неологизмом [Lust: 971]. Изначально слово *πλημμέλεια* – музыкальный термин, образованный от наречия *πλήν* – “кроме” и *μέλος* – “песнь, мелодия”. В музыке словом *πλημμέλεια* обозначается чаще всего фальшивая модуляция. В таком значении слово употребляется, например, в трактате Псевдо-Плутарха “О музыке”. У многих авторов (например, у Исократ, Платона, Аристотеля) *πλημμέλεια* обозначает “ошибка, заблуждение”. Нужно подчеркнуть, что LXX передают *'āšam* как *πλημμέλεια*, когда древнееврейское слово употребляется в контекстах, не связанных с культом, и оборотом *περί τῆς πλημμελείας*, когда речь идет о жертвоприношении.

Литература

Лопухин. Толковая Библия или комментарий на все книги Св.Писания Ветхого и Нового Заветов А.П.Лопухина, СПб., 1903-1913.

Lust. A Greek-English Lexicon of the Septuagint. Compiled by Johan Lust/Erik Eynikel/Katrin Hauspie. Stuttgart, 2003.

Происхождение и статус формантов -slo- и -smen- в отглагольных именах (из предистории латинского словообразования)

Новикова Екатерина Павловна

*Студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова,
Москва, Россия*

Работа посвящена рассмотрению формантов -slo- и -smen- в истории латинского словообразования, в которых предлагается видеть конглютинаты (термин И. М. Тронского [Тронский: 353]), состоящие из двух более простых суффиксов, служивших для образования отглагольных имён. Анализу подвергается семантика и валентность этих суффиксов по сравнению с более простыми суффиксами -lo- и -men-.

Основанием для выделения -slo- и -smen- служит наличие в латинском языке слова типа *pālus* и типа *contāmen*, в которых конечный согласный корня производящего слова оказывается усеченным (ср. *pālus* с *rangere* (корень *rag-*) и *contāmen* с *tangere* (корень *tag-*). Обычно исчезновение согласного объясняется упрощением группы из трёх согласных, где между конечным согласным корня и суффиксом оказывался некий элемент -s- (*pālus* < **rag-s-lo-s*; *contāmen* < **con-tag-s-men*).

Из рассмотрения исключаются примеры с неясной этимологией (типа *mīlus*), отыменные производные (типа *āla*) и прилагательное *paulus* (диминутив - *pauxillus*).

Статус производных от глагольного корня большинство исследователей (например, Ману Лёйманн [Leumann: 207]) признаёт за *pālus* (*rangō*, иногда также подводилось к *raciscor* (например, М. М. Покровским с опорой на Бругманна), *filum* (как Вальде и Гофманн, так и Эрну и Мейе рассматривают как производное от *fiŋgō*), *caelum*, *scālae*, *tēla*.

За исключением последнего примера, где не вполне уверенно можно предполагать **teks-s-la* (а не более простое **teks-la*), во всех указанных случаях выделяется тот самый

конглютинат -s-lo-/-s-la-, где -s- Тронский предлагает объяснять как нулевую ступень некоторого суффикса -(e)s-.

Необходимо установить природу этого суффикса -(e)s-.

Здесь нельзя говорить об индоевропейском расширителе корня -s- [Бенвенист: 184] именно по той причине, что, например, в производном *iūmentum* корень (представляется разумным вслед за Лёйманном соотносить этот производный с глаголом *iungere*) выступает в полной ступени **ieu-*, принимая расширитель -g-, и, по правилу Бенвениста, более никакой расширитель корня находится в непосредственно глагольной основе не может.

Таким образом, -s- может рассматриваться только как суффикс для образования отглагольного производного, выступающий в нулевой ступени, то есть как известный и засвидетельствованный во многих словах суффикс -(e)s- (условно может быть записан и как -e/os-), о котором Тронский пишет: «и.-е. суффикс -e/os- (нулевая ступень -s-) служил в первую очередь для образования глагольных имен действия. Этот морфологический тип в латинском языке уже малопродуктивен» [Тронский: 366].

Примерами служат слова ср. р. типа *genus* (-eris), ср. гр. *γένος* (-εος), *tempus* (-oris) или *iūs*, *rūs*: **ieuos* > **iouos* (ср. *IOVESTOD* (CIL, I2, 1)) > **ious* > *iūs* и **reuos* > **rouos* > **rūs*.

Вполне правомерно упоминание греческого ζεύχος в связи с -s- в *IOVXMENTA* (CIL, I2, 1) [Карасёва: 114], однако следует помнить, что изначально это мог быть производный от глагольного корня **ieu-g-* (который при образовании от него основы настоящего времени с назальным инфиксом выступает в виде *iung-*).

Сам И. М. Тронский отмечает (впрочем, не вдаваясь в детали), что исходы основы с -lo- или -lā- иногда восходят к *-s-lā-, где *-lo- или *-lā- присоединяется к нулевой ступени суффикса -(e)s-: *pālus*, *aula* [Тронский: 358].

Что касается производных на -smen-, то для них возникновение -s- на стыке корня и суффикса обычно объясняется как морфонологический процесс. Лёйманн причисляет к производным, имеющим в своём составе -smen-, даже производные типа *frūmentum* (возведено у Лёйманна к *fruc-tus*) и *flūmen* (*fluc-tus*), что с нашей точки зрения представляется не очень оправданным и системным (так как эти производные можно считать простыми на -men-, то есть производными от глаголов *fruo* и *fluo*). Для Лёйманна же эти примеры служили доказательством частотности проявления -smen- после заднеязычных.

При этом он не может не признать и отглагольность *iūmentum*, *exāmen* и *contāmen*. Но морфонологическое объяснение возникновения -s- не вполне убедительно ещё и потому, что известны достаточно древние производные типа *figmen*, *pigmen*, *fragem(tum)* и пр., где заднеязычный в аналогичной ситуации не провоцирует появления -s- на морфемном шве между корнем и суффиксом.

Таким образом, производные типа *contāmen* представляется разумным относить к редкой и малопродуктивной модели с конглютинатом -s-men-, где -s- - известный индоевропейский суффикс -(e)s-, тот же, что и в конглютинате -s-lo-.

Обычно явным образом не постулируется, что как в случае с отглагольными именами на -slo-, так и на -smen- мы имеем дело с конглютинатами, в составе которых находится один и тот же древний суффикс -(e)s-, однако данные типы словообразовательных моделей, как в силу утраты, в конечно счете, самим суффиксом -s- продуктивности, так и в связи с затемнением этого суффикса из-за ротацизма и различных упрощений групп согласных, в классическом латинском языке не были продуктивны.

Судя по всему, здесь мы имеем дело с реликтами некоторого состояния словообразовательной системы латинского языка в доисторический период её существования (если проводить хронологию относительно фонетических процессов - до начала упрощения групп согласных и до начала действия закона ротацизма).

Однако появление данных конглютинатов представляется закономерным, так как латинскому языку свойственно было образовывать как простые производные, так и производные с конглютинатами (-t-ion-, -men-tum и др.).

Литература

Бенвенист Э. Индоевропейское именное словообразование. М., 1955

Карасёва Т.А. Историческая фонетика латинского языка. Грамматический комментарий к латинским текстам VII-I в.в. до н.э.. М., 2003

Тронский И.М. Историческая грамматика латинского языка. М., 2001

Leumann M., Lateinische Grammatik. Bd. 1. Lateinische Laut- und Formenlehre. München, 1977

Выражение локативного значения в латинском языке и правило выбора падежа, сформулированное Сервием

Сорокина Наталья Сергеевна

*Аспирантка Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова,
Москва, Россия*

Локатив не сохранился в латинском языке как полноценный падеж, он не входит в падежную парадигму, и не каждое слово имеет форму локатива (местного падежа). Для большинства слов в латыни местный падеж был замещен аблативом, по своей функции называемым *ablativus loci* (аблатив места), который употребляется в основном с предлогом *in* (*in Graecia, in Italia etc.*), но в некоторых случаях без предлога (*terra marique, castris, dextra, sinistra et al.*). Местный падеж сохранился для небольшого числа имен нарицательных: *rus, domus, humus*, - а также для некоторых географических названий (топонимов).

Среди географических названий, употребляемых в локативе, обычно указывают города и острова, иногда уточняют: "небольшие острова" [Нетушил: 139]. Это подразумевает, что названия "больших" островов будут употребляться в аблативе с предлогом *in*, точно так же, как и названия стран и провинций. Название *Sicilia*, например, вполне подходит под подобное правило: нет сомнений в том, что Сицилия является крупнейшим островом Средиземноморья, а сочетание *in Sicilia* употребляется у авторов разных периодов и разных жанров, от архаических (Plaut. Men. 408) до авторов "золотой латыни" (Cic. Saec. 2, Ver. I 12 et al.) и "серебряной" (Plin. nat. VII 9 et al.). Названия *Sardinia* и *Euboea* тоже не употребляются в локативе ни у кого из латинских авторов. Однако можно понять, что от размера острова выбор локатива или аблатива не зависит, если рассмотреть употребление названия *Creta* (Крит). Крит - это, как известно, крупный остров, по размеру больше Эвбеи (*Euboea*), и было бы логично ожидать сочетания *in Creta* у всех авторов. Это сочетание употребляют многие авторы как в прозе (Nep. pr. 1, 4; Liv. XXXV 26, 4; Plin. nat. VII 73, VIII 227 et al.), так и в поэзии (Lucr. II 631). Местный падеж - *Cretae* - используют Варрон (Var. R. I 7, 6), Витрувий (Vitr. I 4, 10, II 9, 13), из поэтов Вергилий (Verg. A. 162). Сервий в комментарии к этому месту "Энеиды" пишет: *non sic dicitur 'Cretae', quemadmodum 'Romae': neque enim bene, sicut dictum est, sine praepositione insulae ponuntur, nisi hae tantum quae eiusdem nominis civitates habent* (*Cretae* не говорят в таком смысле (т.е. в локативном значении - Н.С.), как *Romae*, и нехорошо это сказано: острова не ставятся без предлога, кроме тех, где есть города с тем же названием). Это правило сформулировано только Сервием, но, по всей видимости, Сервий здесь следует за Цицероном, который последовательно употребляет только *in Creta* и, как известно, является образцовым автором.

Попытаемся проверить, действует ли правило, сформулированное Сервием, на примере названия острова Родос, на котором есть одноименное поселение. У Цицерона для обозначения места используется локатив *Rhodi* (Planc. 84, de or. II 3, or. 5, n.d. III 54 et al.). Плиний Старший употребляет как локатив *Rhodi*, так и сочетание *in Rhodo*. Сочетание предлога *in* с аблативом он использует, когда речь идет об острове Родос (*persicae arbores*

in Rhodo florent tantum - Plin. nat. XVI 111), а местный падеж Rhodi - когда имеет в виду город Родос (hoc signum exstat hodie Rhodi. est in eadem urbe et ferreus Hercules - Plin. nat. XXXV 69).

Таким образом, критерии выбора между локативом и аблативом с предлогом при названиях островов нельзя выделить легко и однозначно. Представляется разумным в дальнейшем, с одной стороны, собрать статистические данные по употреблению того или иного падежа, с другой стороны - рассматривать не только общие закономерности, но и частные случаи их использования.

Литература

Нетушил И.В. Латинский синтаксис. Харьков, 1880.

Перевод как форма рецепции: древнеримская драма

Филиппов Вячеслав Валерьевич

Аспирант Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Перевод важен для развития культурного процесса как фактор взаимодействия литератур, особенно удаленных временем. Хотя античная эпоха составляла базу, почву как для европейской, так и русской культуры, тем не менее, история русской переводной литературы с древних языков остается изученной неравномерно. А именно, отдельным авторам и произведениям посвящаются десятки работ, в то время как другие не привлекают особого внимания. Например, подробно изучена античность в творчестве А.С.Пушкина, В.А.Жуковского, Вячеслава Иванова, ряд исследований посвящен рецепции таких античных авторов в России, как Гомер, Софокл, Гораций и др. То есть в выборе тематики влияния античности на русскую культуру исследователи обращаются, в основном, к «авторам первого ряда» либо отдают предпочтение наиболее известным произведениям [Любжин: 7].

Еще менее изучена проблема перевода с позиции жанра. Этот аспект в литературоведении рассматривается исследователями лишь фрагментарно, попутно. А.В.Федоров, в частности, отмечал, что «встает теоретическая задача обобщения переводческой работы в области разных жанров» [Топер: 204]. Особенно сложен вопрос о переводе драматургии, если учитывать ее специфику и многогранность, потому, на наш взгляд, он и привлекал к себе меньше внимания, долгое время оставаясь в тени [Топер: 202].

Поскольку драма ориентирована не только, а, может быть, и не столько на читателя, сколько на зрителя, на сцену, то она имеет две жизни: театральную и собственно литературную [Хализев: 320]. Таким образом, деятельность переводчиков драматических произведений определяется не только общим литературным процессом, но и развитием национального театра. Именно театр, главным образом, и повлиял на появление в XX веке полного собрания на русском языке римской драмы.

Следует пояснить, что под «римской драмой» имеется в виду, прежде всего, комедии Плавта и Теренция и трагедии Сенеки. От остальных авторов до наших дней сохранились лишь незначительные фрагменты.

При всех содержательных и хронологических различиях комедия и трагедия обладают рядом общих свойств. Это касается и римской драмы. Во-первых, как создатели комедии, так и трагедии ориентировались на греческие образцы, которые они, однако, не копируют, а приспособливают к своему времени и социокультурной среде. Проблемы, стоящие перед переводчиками римских и комедии, и трагедии, чем-то сходны: это и передача широкого охвата мифологических событий, умение «нагрузить» минимальный отрезок текста целой картиной ассоциаций, поскольку драма тяготеет к внешне эффектной подаче изображаемого [Хализев: 319]. Римской драме, помимо этого, присущ особый стихотворный размер, что особенно относится к Плавту, разнообразная метрика пьес которого представляет особенную сложность для перевода. Вместе с тем в

драматических жанрах, при отсутствии авторского текста, индивидуализация персонажей выполняется, в основном, с помощью речевых средств. Таким образом, психологизм образов и характеров создается в драме не только посредством сюжета, но и речевой характеристики. А переводчику Сенеки необходимо еще хорошо разбираться и в стоической философии, поскольку ею проникнуты практически все его пьесы. Без учета перечисленных требований отразить особенности драматургической манеры и стиля как автора комедии, так и трагедии вряд ли удастся.

При переводе римской драмы на русский язык возникает также и проблема передачи исторических реалий. Действие римской комедии, например, происходит, как правило, в греческих городах. Персонажи носят греческие имена, живут по греческим законам, справляют греческие празднества, однако сплошь и рядом, особенно у Плавта, по выражению фон Альбрехта, «под греческим плащом просвечивает тога» [фон Альбрехт: 228] - мелькают чисто римские детали. Это делается, безусловно, с умыслом, поскольку подобный диссонанс преследовал комический эффект.

Поэтому, хотя переводов Плавта и Теренция на русский язык мы имеем немало, полное художественное собрание этих авторов появилось в России лишь в XX веке. Ясно, что в первую очередь переводились наиболее известные комедии, к ним в свое время обращались Шекспир и Мольер. Это: «Близнецы», или «Два Менехма», - пьеса, лежащая в основе шекспировской «Комедии ошибок». А также «Клад», из которого родился знаменитый мольеровский «Скупой». К «Кладу» в свое время обратился А.А.Фет, переведя эту пьесу стихами. Но большинство переводов до конца XIX-го века были все-таки прозаическими.

Теренцию повезло меньше, возможно, в силу меньшей доли комизма и динамики действия его пьес. Правда, на русский язык он был переведен раньше Плавта, еще в XVIII веке. Но надо сказать, что это 3-томное издание его комедий принадлежало разным переводчикам и, конечно, было выполнено прозой. Это довольно точный подстрочник и, по всей видимости, как и многие переводы того времени, он был создан для учебных нужд.

Что касается трагедии, то в России вплоть до XX века предпринимались лишь разрозненные попытки перевода Сенеки. Хотя первым к нему обратился еще М.В.Ломоносов, переведя центральный монолог Медеи из одноименной драмы. В 1920-е годы шесть трагедий, а именно «Медею», «Федру», «Эдипа», «Фиеста», «Агамемнона» и претексту «Октавия», переводит С.М.Соловьев, русский поэт-символист. Перевод же всех 10 трагедий для серии «Литпамятники» появился только в 1983 году, его осуществил Сергей Александрович Ошеров, известный советский филолог-классик, который, кроме того, по мнению М.Л.Гаспарова, сделал «единственный удобочитаемый» перевод «Энеиды» на русский язык.

Так как «каждая эпоха отбирает и своих авторов, и свое у каждого автора» [Ошеров, 1983: 381], то тот перевод и оказывается наиболее в художественном отношении точным, который в большей мере отразил особенности драматургической манеры и стиля переводимого автора, в том числе и римской драмы как отдельного античного жанра.

И поскольку драматические жанры обладают, с одной стороны, рядом сходных черт, а с другой, представляют собой определённую сложность для перевода, возможно, именно в силу этого перевод римской драмы и стал одной из наиболее важных форм рецепции античности в русской культуре.

Литература

- Фон Альбрехт Михаэль. История римской литературы. Т.1. М., 2002.
Любжин А.И. Римская литература в России в XVIII-начале XX века. М., 2007
Ошеров С.А. Сенека-драматург // Луций Анней Сенека. Трагедии. М., 1983. С. 351-381.
Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. М., 2001.
Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2007.

Римская сатира и идея «метризации» текста в античной литературной теории

Шумилин Михаил Владимирович

Аспирант Российского государственного гуманитарного университета, Москва,
Россия

В Sat. 1.4.39–62 Гораций утверждает, что он не поэт, потому что спорно, является ли комедия (а Гораций считает сатиру вариацией на тему жанра комедии) поэмой, ведь комедия – это простая речь, только метризованная (1.4.47–8: nisi quod pede certo / differt sermoni, sermo merus), и в ней нет «ни пылкого духа, ни мощи» (1.4.46: acer spiritus ac vis). Далее поясняется, что, если взять строки Энния (Ann. 225–6 Skutsch) postquam Discordia taetra / belli ferratos postis portasque refregit и устранить из них размер, переставив слова (1.4.57–9), то все равно получатся «части тела поэта, хоть и расчлененного», в отличие от сатир Горация и Луцилия. Обычно считается, что речь просто о «низком стиле» сатиры (напр., [Brink: 162–3]; ссылаются на Cic. Or. 67, где сообщается о мнении «некоторых», что Демосфена и Платона из-за их воодушевленности и отбора слов, quod incitatus feratur et clarissimis verborum luminibus utatur, следует считать в большей степени поэтами, чем комедиографов, которые пишут совсем как повседневную речь, только метризованную, nisi quod versiculi sunt, nihil est aliud cotidiani dissimile sermonis).

Однако содержание пассажа Горация, как кажется, образует четкие содержательные переключки с критикой Лукана в «Сатириконе» Петрония, 118, проясняемой параллельными текстами: у Петрония тоже подразумевается, что Лукан – не поэт, поскольку просто метризует историю, «то, что было» (non enim res gestae versibus comprehendendae sunt), и что недостаточно просто загнать материал в метр (ut quisque versum pedibus instruxit). Контекст этой критики прояснится, если мы отметим, во-первых, явную связь с идеями «Поэтики» Аристотеля (1451a38–b5: если метризовать, εἰς μέτρα τέθειται, «Историю» Геродота, все равно получится история: что было – это материал истории, материал поэзии – что могло бы быть; 1447b16–20: метризованный медицинский или натурфилософский материал, вроде текстов Эмпедокла, не следует считать стихами), а во-вторых, обратимся к развитию положений критики Лукана у Сервия, из текста которого видно, что было промежуточным звеном между Аристотелем и Петронием (ср. In Aen. 1.382 и 1.235). Это модификация теории Аристотеля, происходящая, видимо, из перипатетической школы ([Rostagni: 118–24] считает ее создателем Феофраста) и удобно изложенная, напр., в Cic. De inv. 1.27: истории, которая все так же занимается «тем, что было», противопоставляются fabula/μῦθος, «чего не было и быть не могло» – Цицерон приводит в качестве примера строку Пакувия (397 Rib.) angues ingentes alites iuncti iugo «огромные крылатые змеи, запряженные в ярмо», – и argumentum/πλάσμα, «чего не было, но быть могло», материал комедий. Fabula – подходящий материал для трагедии и эпоса, но иногда говорят и просто «для поэзии» (тот же Петроний). Получается, у комедии какой-то промежуточный статус между поэзией и не-поэзией. Это заставляет вспомнить о нашем пассаже из Горация.

С Горацием эту теорию не связывали, видимо, потому, что у него все-таки речь идет больше о стиле, а стандартные формулировки оппозиции historia–fabula–argumentum говорят исключительно о содержании. Однако, во-первых, у Горация о содержании речь на самом деле тоже идет. «Ни пылкого духа, ни мощи» в комедии нет «ни в словах, ни в содержании» (1.4.47: nec verbis nec rebus inest). Гораций приводит развернутый пример комедийного сюжета (1.4.48–52) и говорит, что «Помпоний услышал бы такую же брань, будь его отец жив». Однако пересказывает он не брань, а именно сюжет, причем почему-то сюжет новой комедии, хотя вообще Гораций возводит сатиру к древней комедии, высмеивавшей реальных личностей, называя по именам. В то же время в изложениях оппозиции historia–fabula–argumentum примерами всегда служат именно сюжеты новой комедии (или зависимой от нее римской паллиаты), да и определение argumentum, собственно, подразумевает именно новую комедию. Во-вторых, у Петрония тоже речь

идет не только о содержании; весь его пассаж построен на том образе, что поэт должен быть боговдохновенным прорицателем (*per ambages deorumque ministeria et †fabulosum sententiarum tormentum† praecipitandus est liber spiritus, ut potius furentis animi vaticinatio appareat*), и уже отсюда следует каким-то образом не только возвышенный и эмоциональный стиль, но и наличие сверхъестественного божественного аппарата (в этой области, судя по параллельному месту у Сервия, и «оплошал» Лукан). Видимо, «божественный» стиль и «божественное» содержание (=fabula=про богов) воспринимаются Горацием и Петронием как нечто единое и связанное с божественным вдохновением самого поэта (ср. *Hor. Sat. 1.4.43 cui mens divinius*). Тогда пример из Энния может быть приведен не только как образец высокого стиля, но и потому, что в нем фигурирует персонифицированный «Раздор».

Получается, в античной литературной критике была своя (и явно недооцененная) теория «реализма», и сатира определяет себя как жанр, в основе которого и лежит этот «реализм». «Метризуется» в данном случае как будто бы сама реальность. Другие сатирики тоже постоянно отрешиваются от мифологической поэзии (пролог и 1 сатира Персия, 1 сатира Ювенала), и Луцилий при этом, возможно, даже использовал тот же пример, что и Цицерон (26.8 *Charpin: nisi portenta anguisque volucris ac pinnatos scribitis* «коли вы пишете не о чудесах и о летучих пернатых змеях»). В итоге сатира – это «просто реальность, только плюс размер»; так ее и обозначает периодически Гораций (*Hor. Sat. 1.10.59–60 pedibus quid claudere senis, / hoc tantum contentus, 2.1.28 me pedibus delectat claudere verba*). Может быть, с этой идеей связан еще периодически появляющийся в сатире мотив «слова, которое не влезает в размер» (*Lucil. 6.1 Charpin, Hor. Sat. 1.5.87–8*).

Литература

Brink C. O. Horace on Poetry. Cambridge, 1963.

Rostagni A. Aristotele e aristotelismo nella storia dell'estetica antica // SIFC. Vol. II. 1922. P. 1–147.